



Н.С. ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

Некрещеный поп

Содержание

#1	0005
I	0006
II	0010
III	0015
IV	0021
V	0025
VI	0028
VII	0037
VIII	0040
IX	0045
X	0048
XI	0053
XII	0056
XIII	0059
XIV	0062
XV	0065
XVI	0073
XVII	0077
XVIII	0079
XIX	0085
XX	0097
XXI	0100
XXII	0110

Николай Лесков
Некрещеный поп
Невероятное событие
(Легендарный случай)

Посвящается Федору Ивановичу Буслаеву

Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение. Нет; я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому, что это оригинальное событие уже теперь, при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается история».

В своем приятельском кружке мы остановились над следующим газетным известием:

«В одном селе священник выдавал замуж дочь. Разумеется, пир был на славу, все подпили порядком и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между прочим, местный диакон оказался любителем хореографического искусства и, празднуя веселье, „веселыми ногами“ в одушевлении отхватал перед гостями *трепака*, чем всех привел в немалый восторг. На беду на том же пиру был благочинный, которому такое деяние диакона показалось весьма оскорбительным, заслуживающим высшей меры взыскания, и в ревности своей благочинный настрочил донос архиерею о том, как диакон на свадьбе у священника „ударил трепака“. Архиепископ Игнаний, получив донос, написал такую резолюцию:

*„Диакон N 'ударил трепака'...
Но трепак не просит;
Зачем же благочинный доносит?
Вызвать благочинного в консисторию и допросить“.*

Дело окончилось тем, что доноситель, проехав полтораста верст и немало израсходовав денег на поездку, возвратился домой с внушением, что благочинному следовало бы на месте словесно сделать внушение диакону, а не заводить кляуз из-за *одного*— и притом исключительного случая».

Когда это было прочитано, все единогласно поспешили выразить полное сочувствие оригинальной резолюции пр. Игнатия, но один из пас, г. Р., большой знаток клирового быта, имеющий всегда в своей памяти богатый запас анекдотов из этой своеобразной среды, вставил:

— Хорошо-то это, господа, пускай и хорошо: благочинному действительно не следовало «заводить кляуз из-за *одного*, и притом исключительного случая»; но случай случаю рознь, и то, что мы сейчас прочитали, приводит мне на память другой случай, донося о котором, благочинный поставил своего архиерея в гораздо большее затруднение, но, однако, и там дело сошло с рук.

Мы, разумеется, попросили своего собеседника рассказать нам его затруднительный

случай и услышали от него следующее:

– Дело, о котором по вашей просьбе надо вам рассказывать, началось в первые годы царствования императора Николая Павловича, а разыгралось уже при конце его царствования, в самые суматошные дни наших крымских неудач. За тогдашними, большой важности, событиями, которые так естественно овладели всеобщим вниманием в России, казусное дело о «некрещеном попе» свертелось под шумок и хранится теперь только в памяти остающихся до сих пор в живых лиц этой замысловатой истории, получившей уже характер занимательной легенды новейшего происхождения.

Так как дело это в своем месте весьма многим известно и главное лицо, в нем участвующее, до сих пор благополучно здравствует, то вы должны меня извинить, что я не буду указывать место действия с большою точностью и стану избегать называть лица их настоящими именами. Скажу вам только, что это было на юге России, среди малороссийского населения, и касается некрещеного попа, отца Саввы, весьма хорошего, благочестивого челове-

ка, который и до сих пор благополучно здравствует и священствует и весьма любим и начальством и своим мирным сельским приходом.

Кроме собственного имени отца Саввы, которому я не вижу нужды давать псевдоним, все другие имена лиц и мест я буду ставить иные, а не действительные.

Итак, в одном малороссийском казачьем селе, которое мы, пожалуй, назовем хоть Парипсами, жил богатый казак Петро Захарович, по прозвищу Дукач. Человек он был уже в летах, очень богатый, бездетный и грозный-прегрозный. Не был он *мироедом* в великорусском смысле этого слова, потому что в малороссийских селах мироедство на великорусский лад неизвестно, а был, что называется, *дукач* – человек тяжелый, сварливый и дерзкий. Все его боялись и при встрече с ним открещивались, поспешно переходили на другую сторону, чтобы Дукач не обругал, а при случае, если его сила возьмет, даже и не побил. Родовое его имя, как это нередко в селах бывает, всеми самым капитальным образом было позабыто и заменено уличною кличкою или прозвищем – «Дукач», что выражало его неприятные житейские свойства. Эта обидная кличка, конечно, не содействовала смягчению нрава Петра Захарыча, а, напротив, еще более его раздражала и доводила до такого состояния, в котором он, будучи от

природы весьма умным человеком, терял самообладание и весь рассудок и метался на людей, как бесноватый.

Стоило завидевшим его где-нибудь играющим детям в перепуге броситься вроссыпь с криком: «ой, лышенько, старый Дукач иде», как уже этот перепуг оказывался не напрасным: старый Дукач бросался в погоню за разбегающимися ребятишками со своею длиною палкою, какую приличествует иметь в руках настоящему степенному малороссийскому казаку, или с случайно сорванною с дерева хворостиною. Дукача, впрочем, боялись и не одни дети; его, как я сказал, старались подальше обходить и взрослые, – «абы до чего не причепывся». Такой это был человек. Дукача никто не любил, и никто ему не сулил ни в глаза, ни за глаза никаких благожеланий, напротив, все думали, что небо только по непонятному упущению коснит давно разразить сварливого казака вдребезги так, чтобы и путроха его не осталось, и всякий, кто как мог, охотно бы постарался поправить это упущение Промысла, если бы Дукачу, как назло, отвсюду незримо «не перло счастье». Во всем

ему была удача – все точно само шло в его железные руки: огромные стада его овец плодились, как стада Лавановы при досмотре Иакова. Для них уже вблизи и степей недоставало; полтвые круторогие волы Дукача сильны, росли и тоже чуть не сотнями пар ходили в новых возах то в Москву, то в Крым, то в Нежин; а пчелиная пасека в своем липняке, в теплой запуши была такая, что колодки надо было считать сотнями. Словом, богатство по казачьему званию – несметное. И за что все это бог дал Дукачу? Люди только удивлялись и успокоивали себя тем, что все это не к добру, что бог, наверное, этак «манит» Дукача, чтобы он больше возвеличался, а потом его и «стукнет», да уж так стукнет, что на всю околицу слышно будет.

Ждали добрые люди этой расправы над лихим казаком с нетерпением, но годы шли за годами, а бог Дукача не стучал. Казак все богател и кичился, и ниоткуда ничто ему достойное его лютовства не угрожало. Общественная совесть была сильно смущена этим. Тем более что о Дукаче нельзя было сказать, что ему отплатится на детях: детей у него не бы-

ло. Но вот вдруг старая Дукачиха стала чего-то избегать людей, – она конфузилась, или, по-местному, «соромылась» – не выхолила на улицу, и вслед за тем по околице разнеслась новость, что Дукачиха «непорожня».

Умы встрепенулись, и языки заговорили: давно утомленная ожиданием общественная совесть ждала себе близкого удовлетворения.

– Що то буде за дитына! що то буде за дитына антихристова? И чи воно родыться, чи так и пропаде в животи, щоб ему не бачыть билого свиту!

Ждали этого все с нетерпением и, наконец, дождались: в одну морозную декабрьскую ночь в просторной хате Дукача, в священных муках родового страдания, явился ребенок.

Новый жилец этого мира был мальчик, и притом без всякого зверовидного уродства, как хотелось всем добрым людям; а, напротив, необыкновенно чистенький и красивый, с черною головкою и большими голубыми глазками.

Бабку Керасиху, которая первая вынесла эту новость на улицу и клялась, что у ребенка нет ни рожков, ни хвостика, оплевали и хо-

тели побить, а дитя все-таки осталось хоро-
шенькое-прехорошенькое, и к тому же еще
удивительно смирное: дышало себе потихо-
нечку, а кричать точно стыдилось.

Когда бог даровал этого мальчика, Дукач, как выше сказано, был уже близок к своему закату. Лет ему в ту пору было, может быть, более пятидесяти. Известно, что пожилые отцы горячо принимают такую новость, как рождение первого ребенка, да еще сына, наследника имени и богатства. И Дукач был этим событием очень обрадован, – но выражал это, как позволяла ему его суровая натура. Прежде всего он призвал к себе жившего у него бездомного племянника по имени Агапа и объявил ему, чтобы он теперь уже не дул губу на дядино наследство, потому что теперь уже бог послал к его «худоби» настоящего наследника, а потом приказал этому Агапу, чтобы он сейчас же снарядился в новый чепан и шапку и готовился, чуть забрезжит заря, идти с посылом до заезжего судейского паныча и до молодой поповны – звать их в кумовья.

Агапу тоже уже было лет под сорок, но он был человек загнанный и смотрел с виду цыпленком с зачичкавшеюся головенкою, на которой у него сбоку была пресмешная лыси-

на, тоже дело руки Дукача.

Когда Агап в отрочестве осиротел и был взят в Дукачев дом, он был живой и даже шустрый ребенок и представлял для дяди ту выгоду, что знал грамоте. Чтобы не кормить даром племянника, Дукач с первого же года стал посылать его со своими чумаками в Одессу. И когда Агап один раз, зозвратясь домой, сдал дяде отчет и показал расход на новую шапку. Дукач осердился, что тот смел самовольно сделать такую покупку, и так жестоко побил парня по шее, что она у него очень долго болела и потом навсегда немножко скособочилась; а шапку Дукач отобрал и повесил на гвоздь, пока ее моль съест. Кривошей Агап ходил год без шапки и был у всех добрых людей «посмихачем». В это время он много и горько плакал и имел досуг надумать, как помочь своей нужде. Сам он уже давно отупел от гонений, но люди наговорили ему, что он мог бы с своим дядьком справиться, только не так просто, через прямоту, а через «польтыку». И именно через такую политику, тонкую, чтобы шапку купить, а расход на нее не показывать, а так «расписать»

те деньги где-нибудь понемножечку, по другим статьям. А ко всему этому на всякий случай, идучи к дяде, взять самое длинное полотенце да в несколько раз обмотать им себе шею, чтобы если Дукач станет драться, то не было бы очень больно. Агап взял себе на ум эту науку, и вот через год, когда дядя погнал его опять в Нежин, он ушел без шапки, а вернулся и с отчетом и с шапкою, которой ни в каких расходах не значилось. Дукач спервоначала этого и не заметил и даже было похвалил племянника, сказав ему: «Треба б тебе побиты, да ни за що». Но тут бес и дернул Агапа показать дядьку, как несправедлива на свете человеческая правда! Он попробовал, хорошо ли у него намотано на шее длинное полотенце, которое должно было служить для его политических соображений, и, найдя его в добром порядке, молвил дяде:

– Эге, дядьку, добре! ни за що биты! Ось така-то правда на свити?

– А яка ж правда?

– А ось яка правда: вибачайте, дядьку. – И Агап, щелкнув по бумажке, сказал: – нема тут шапки?

– Ну, нема, – отвечал Дукач.

– А от же и есть шапка, – похвалился Агап и насадил набекрень свою новую франтовскую шапку из решетиловских смушек.

Дукач посмотрел и говорит:

– Добра шапка. А ну, дай и мени помирять.

Надел на себя шапку, подошел к осколку зеркальца, вправленному в досточку, оклеенную яркою пестрою бумажкой, тряхнул седою головой и опять говорит:

– А до лиха, бачь и справди така добрая шапка, що хоть бы и мени, то было б добре в ни ходыти.

– А ничего соби, добре б було.

– И де ты ии, вражий сын, украв?

– Що вы, дядьку, на що я буду красты! – отвечал Агап. – Нехай от сего бог боронить, я зроду не крав.

– А де ж ты ии ухопыв?

Но Агап ответил, что он совсем шапки не хапал, а так себе, просто ее достал через попытку.

Дукачу это показалось так смешно и невероятно, что он рассмеялся и сказал:

– Да ну, годи вже тебе дурню: де таки тоби

робыть полытыку?

– А от же и сробыв.

– Ну, мовчи.

– Ей-богу, уделал.

Дукач только молча погрозил ему пальцем: но тот стоит на своем, что он «полытыку уделал».

– И де в черта, та пыха у тебя взялась в голове, – заговорил Дукач, – да же сему дилу быть, щобы ты, такой сельский квак, да в Нежине мог полытыку делать.

Но Агап стоял на своем, что он действительно уделал полытыку.

Дукач велел Агапу сесть и все как есть проделанную им политику рассказывать, а сам налил себе в плошку сливяной наливки, запалил люльку и приготовился долго слушать. Но долго слушать было нечего. Агап повторил дяде весь свой отчет и говорит:

– Нема тут шапки?

– Ну, нема, – отвечал Дукач.

– А вот же тут и есть шапка!

И он открыл, что именно, сколько копеек и в какой расходной статье им присчитано, и говорил он все это весело, с открытою душою

и с полною надеждою на туго намотанное на шее полотенце; но тут-то и случилась самая непредвиденная неожиданность: Дукач, вместо того чтобы побить племянника по шее, сказал:

– Ишь ты и справи якый полытык: украв, да и шию закрутив, щоб не больно було. Ну так я же тобі дам другую полытыку, – и с этим он дернул клочок волос, замерший у него в руке.

Так кончилась эта политическая игра дяди с племянником и, сделавшись известной на селе, укрепила за Дукачом еще более твердую репутацию, что этот человек «як каминь» – ничем его не возьмешь: ни прямою, ни политикою.

IV

Дукач всегда жил одиноко: он ни к кому не ходил, да и с ним никто не хотел близко знаться. Но Дукач об этом, по-видимому, нимало и не скорбел. Может быть, ему это даже нравилось. По крайней мере он не без удовольствия говаривал, что в жизнь свою никому не кланялся и не поклонится – и случая такого не чаял, который мог бы заставить его поклониться. Да и в самом деле и из-за чего он стал бы кого-нибудь заискивать? Волон и всякой худобы много; а если этим бог накажет, – волы пообдают или что пожаром сгорит, так у него вволю и земли и лугов – все в порядке, все опять снова уродится, и он снова разбогатеет. А хоть бы и не так, то он хорошо знал в дальнем лесу один приметный дуб, под которым закопан добрый казанок с старыми рублевиками. Стоит его достать оттуда, так и без всяких хлопот можно целый век жить, и то не прожить. Что же значили ему люди? Детей, что ли, ему с ними крестить, – но у него детей не было. Или для того чтобы утешить свою Дукачиху, которая по бабьей прихоти

приставала:

– Что, мол, нас все боятся да нам завидуют – лучше бы сделать, чтобы нас кто-нибудь любить стал.

Но стоило ли это бабье нытье казачьего внимания.

И вот шли годы за годами, пронося над головою Дукача безвредно всякие житейские случайности и невзгоды, а случай, который мог заставить его поклониться людям, все-таки его не облетел мимо: теперь люди ему понадобились, чтобы дитя крестить.

Всякому иному, не такому гордому человеку, как Дукач, это, разумеется, ничего бы не составляло, но Дукачу ходить, звать, да еще упрашивать, было не под стать. Да еще кого звать и кого «упрашивать»? – Уж, разумеется, не кого-нибудь, а самых первых людей: молодую поповну-щеголиху, которая ходила в деревне в полтавских шляпках, да судового паныча, что гостил об эту пору у отца диакона. Положим, это компания хорошая, но что-то страшно: ну как они откажут? Дукач помнил, что ведь не обращал внимания он не только на простых людей, но не уважал и отцу Яко-

ву, а с диаконом прямо один раз на гребле «бился» за то, что тот, едучи ему навстречу, не хотел с дороги в грязь своротить. Чего доброго, и они этого не позабыли и теперь, – когда гордому казаку пришла в них нужда, – они ему это, пожалуй, и вспомнят. Делать, однако, было нечего. Дукач поднялся на хитрость: избегая самолично встретить отказ, он послал звать кумовьев Агапа. А чтобы и тому было поваднее, снабдил его зваными дарами деревенского припасения, которые вынул из заветной скрыни: панночке высокий черепаховый гребень «с огородом», а панычу золоченую склянку петухом с немецкою подписью. Но все это вышло напрасно: кумовья отказались и даров не приняли; да еще, по словам Агапа, и в глаза ему насмеялись: что, дескать, чего Дукач и заботится: разве детей таких злодеев, как он, можно крестить? А когда Агап заметил, что неужто дитя целую неделю останется не крещено, то будто сам поп – отец Яков прямо пророковал: что не неделю, а целый век ему оставаться некрещеным.

Услыхав это, Дукач сложил правою рукою дулю, сунул ее племяннику в нос и велел под-

нести это за пророчество отцу Якову. А чтобы Агапу веселее было идти, – повернул его другою рукою и выпроводил по потылице.

А гап, разумеется, не считал этого за самый худший исход, какого он мог ожидать за свое неудачное посольство, и, закатясь с дядиных глаз в корчму, успел рассказать бывшее так хорошо, что через полчаса об этом знало все селение, и все, от мала до велика, радовались тому, что отец Яков «в книгах вычитал, як Дукачонку на роду писано остаться некрещеным». И если бы теперь старый Дукач забыл всю свою важность и стал звать последнего из последних на селе, то он наверно бы никого не дозвался, но Дукач это знал: он знал, что находится в положении того волка, который всем чем-нибудь нагадил, и что ему потому некуда деться и не от кого искать защиты. Он пошел напролом: сунув к носу Агапа дулю, адресованную отцу Якову, он решил обойтись не только без содействия всех своих односельчан, но и без услуг самого отца Якова.

Назло всем, но, может быть, особенно отцу Якову, Дукач решил окрестить сына в чужом приходе, в селе Перегудах, которое отстояло

от Парипс не более как на семь или на восемь верст. А чтобы не откладывать спешного дела в долгий ящик, – окрестить сына немедленно, именно нынче же, – чтобы завтра об этом и разговоров не было; а напротив, чтобы завтра же все знали, что Дукач настоящий казак, который никому в насмешку не дается и может без всех обойтись. Кум у него уже был избран – самый неожиданный, – это Агап. Правда, что такой выбор многих мог удивить, но на то у Дукача был отвод: он брал простых кумовьев – «встречных», как на то есть поверье, что таких бог посылает. Агап и взаправду был первый «встречник», на которого богатый казак на первого взглянул при известии о новорожденном; а первая «встречница» была бабка Керасивна. Ее взять в кумы было немножко неловко, потому что Керасивна имела не совсем стройную репутацию: она была самая несомненная ведьма; столь несомненная, что этого не отрицал даже сам ее муж, очень ревнивый казак Керасенко, из которого эта хитрая жинка весь дух и всю его нестерпимую ревность выбила. Обратя его в самого битого дурня, жила она на всей своей вольной воле –

немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушеством, то продажей паляниц, то, наконец, просто «срывая цветы удовольствий».

VI

Ведьмовство ее знали и стар и мал, – потому что случай, обнаруживший это, был самый гласный и скандальный. Керасивна еще в дивчинах была бесстрашная самовольница – жила в городах и имела какую-то мудреного вида скляницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покоти, отливавший такие чертовщины в соседней гуте. И Керасивна пила себе на здоровье из этой скляницы и была здорова. И, наконец, мало всего этого – она показала самую невозможную отвагу, добровольно согласясь выйти замуж за Керасенка. Этого никто не мог сделать кроме женщины, которая ничего не боится, потому что Керасенко заведомо уже уморил своею ревностью двух жен, и когда нигде в окрестности не мог найти себе третьей, то тогда эта окаянная Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условие сделала, что он ей всегда будет верить. Керасенко на это согласился, а сам думал:

«Дура баба: так я тебе и стану верить! – дай женюсь, – я тебя и на шаг от себя не отпущу».

Всякая бы на месте Христи это предвидела, но эта шустрая дивчина словно оглупела: и не только ничего не побоялась и вышла за ревнивого вдовца, да еще взяла и совсем его переделала, так что он вовсе перестал ее ревновать и дал ей жить на всей ее вольной воле. Вот это-то и было устроено самым коварным ведьмовством и при несомненном участии черта, которого соседка Керасивны, Пиднебесная, сама видела в образе человеческом.

Это было вскоре же после того, как Керасенко женился на бойкой Христе, и хоть тому теперь прошел уже добрый десяток лет, однако бедный казак, конечно, и о сию пору хорошо помнил этот чертовский случай. Было это зимою, под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому, невмочь усидеть дома. А Керасенко и сам «нудил свитом» и жену никуда не пускал, и произошла у них из-за этого баталия, при которой Керасивна сказала мужу:

– Ну, як ты выйшов на своем слове невірний, то я же тебе зроблю лихо.

– Як лихо! як ты мени лихо зробишь? – заговорил Керасенко.

– А зроблю, да и усе тут буде.

– А як я тебе з очей не выпущу?

– А я на тебе мару напущу.

– Як мару? – хиба ты видьма?

– А от побачишь, чи я видьма, чи я ни видьма.

– Добре.

– От побачкшь: дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю.

И еще срок назначила:

– Три дня, – говорит, – не пройдет, как сделаю.

Казак сидит день, сидит два, просидел и третий до самого до вечера и думает: «Срок кончился, а щоб мене сто чортиев сразу взяли, як дома скучно... а Пиднебеснихин шинок як раз против моей хаты, из окон в окна: мни звидтиль все видно будет, як кто-нибудь пойдет ко мне в хату, А я тем часом там выпью две-три або четыре четвертки... послухаю, що люди гомонят що в городе чуть... и потанцюю – позабавлюся».

И он пошел – пошел и сел, как думал, у окна, так что ему видно всю свою хату, видно, как огонь горит; видно, как жинка там и сям

мотается. Чудесно? И Керасенко сел себе да попивает, а сам все на свою хату посматривает; но откуда ни возьмись сама вдова Пиднебесная заметила эту его проделку, да и ну над ним подтрунивать: эх, мол, такой-сякой ты глупый казак, – чего ты смотришь, – в жизнь того не усмотришь.

– Ну, добре – ще побачим!

– Ничого и бачить, – де за нами, жинками, больше смотрят, там нам, жинкам, сам бис помогае.

– Говори-ка, говори себе, – отвечал казак, – а як я сам на жинку дивитимусь, то коло иі и черт ничего не зробить.

Тут все и закивали головами.

– Ах, нехорошо так, Керасенко, ах, нехорошо! – или ты некрещеный человек, или ты до того осатанел, что и в самого беса не веруешь.

И все этим так возмутились, что даже кто-то из толпы крикнул:

– Да що еще на него смотреть: дать ему такого прочухана, щоб він тричі перевернувся и на добру виру став.

И его действительно чуть не побили, к чему, как он заметил, особенное стремление

имел какой-то чужой человек, о котором Керасенку вдруг ни с того ни с сего вздумалось, что это не кто иной, как тот самый рогачевский дворянин, который подарил его жене склянку с чертом и из-за которого у них с женою перед самою свадьбою было объяснение, окончившееся условием, чтобы об этом человеке больше уже не разговаривать.

Условие было заключено страшной клятвой, что если Керасенко хоть раз вспомнит про дворянина, то будет он тогда за это у черта в зубах. И Керасенко это условие помнил. Но только теперь он был пьян и не мог снести своего замешательства: зачем тут явился рогачевский дворянин? И он поспешил домой, но дома не застал жены, и это ему показалось еще несообразнее.

«Не вспоминать-то, – думал он, – это точно мы условились о нем не вспоминать, а на что же он тут вертится, – и зачем моей жены дома нет?»

И когда Керасенко находился в таких размышлениях, ему вдруг показалось, что у него в сенях за дверью кто-то поцеловался. Он встрепенулся и стал прислушиваться... слы-

шит еще поцелуй и еще, и шепот, и опять поцелуй. И все как раз у самой у двери...

– Э, до ста чертей, – сказал себе Керасенко, – или это я с отвычки горилки так славно наугощался у Пиднебеснихи, что мне черт знает что показывается; или это моя жинка пронюхала, что я про рогачевского шляхтича с нею хочу спорить, и вже успела на меня мари напустить? Люди мне уже не раз прежде говорили, что она у меня ведьма, да только я этого доглядеться не успел, а теперь... ишь, опять целуются, о... о... о... вот опять и опять... А, стой же, я тебя подкараулю!

Казак спустился с лавки, подполз тихо к двери и, припав ухом к пазу, стал слушать: целуются, несомненно целуются – так губами и чмокают... А вот и разговор, и это живой голос его жены; он слышит, как она говорит:

– Що тобі мой муж, такий-сякий поганец: я его прожену, а тебе в хату пуцу.

«Ого! – подумал Керасенко, – это она еще меня хвалится выгнать, а в мою хату кого-то впустить хочет... Ну уж этого не будет».

И он поднялся, чтобы сильным толчком распахнуть дверь, но дверь сама раствори-

лась, и на пороге предстала Керасивна – такая хорошая, спокойная, только немножко будто красная, и сразу же принялась ссориться, как пристойно настоящей малороссийской жинке. Назвала она его чертовым сыном, и пьянией, и собакой, и многими другими именами, а в заключение напонила ему об нх услови, чтобы Керасенко и думать не смел ее ревновать. А в доказательство своего к ней доверия сейчас же пустил бы ее на вечерниці. Иначе она ему такую штуку устроит, что он будет век помнить. Но Керасенко был малый не промах, пустить на вечерниці сейчас после того, как он своими глазами видел у Пиднебеснихи рогачевского дворянина и сейчас слышал, как его жена с кем-то целовалась и стоваривалась кого-то пустить в хату... это ему, разумеется, представилось уже слишком очевидною глупостью.

– Нет, – сказал он, – ты поищи такого дурня в другом месте, а я хочу лучше тебя дома припереть да спать лечь. Так оно надежнее будет: тогда я и твоей мары не испугаюсь.

Керасивна, услышав эти слова, даже побледнела; муж с нею первый раз заговорил в

таком гене, и она понимала, что это настал в ее супружеской политике самый решительный момент, который во что бы то ни стало надо выиграть: или – все, что она вела до сих пор с такою ловкостью и настойчивостью, пропало бесследно и, пожалуй, еще обратится на ее же голову.

И она вспрянула – вспрянула во весь свой рост, ткнула казаку в нос самую оскорбительную дулю и хотела, не долго думая, махнуть за дверь, но тот отгадал ее намерение и предупредил его, замкнув дверь на цепочку, и, опустив ключ в бесконечный карман своих широчайших шаровар, с возмутительным спокойствием сказал:

– Вот тебе и вся твоя дорога, от печи да до порога.

Положение Керасивны обозначилось еще решительнее: она приняла вызов мужа и впадала в такое неописанное и страшное экзотическое состояние, что Керасенко даже испугался. Христя долго стояла на одном месте, вся вздрагивая и вытягиваясь как змея, причем руки ее корчились, кулаки были крепко сжаты, а в горле что-то щелкало, и по лицу

ходили то белые, то багровые пятна, меж тем как устремленные в упор на мужа глаза становились острее ножей и вдруг заиграли совсем красным пламенем.

Это показалось казаку так страшно, что он, не желая видеть жены в этом бешенстве, крикнул:

– Цур тобі, проклятая видьма! – и, дунув на огонь, сразу погасил светло.

Керасивна только топнула впотьмах и прошипела:

– Так будешь же ты знать мене, видьму! – И потом вдруг, как кошка, прыгнула к печки и звонко-презвонко крикнула в трубу:

– У-г-у-у! души его, свинью!

VII

Казак, правда, еще больше струсил от этого нового неистовства, но чтобы не упустить жену, которая, очевидно, была ведьма и имела прямое намерение лететь в трубу, он изловил ее и, сильно обхватив ее руками, бросил на кровать к стенке и тотчас же сам прилег с краю.

Керасивна, к удивлению мужа, нимало не сопротивлялась – напротив, она была тиха, как смиренный ребенок, и даже не бранилась. Керасенко был этому очень рад и, зажав одною рукою спрятанный в карман ключ, а другою взяв жену за рукав рубахи, заснул глубоким сном.

Но недолго длилось это его блаженное состояние: только что он отхватал половину первого сна, в котором переполненный винных паров мозг его размяк и утратил ясность представлений, как вдруг он получил толчок в ребра.

«Что такое?» – подумал казак и, почувствовав еще новые толчки, пробормотал:

– Чего ты, жинка, толкаешься?

– А то як же не толкаться: слухай-ко, что на дворе робится?

– Что там робится?

– А вот ты слухай!

Керасенко поднял голову и слышит, что у него на дворе что-то страшно визгнуло.

– Эге, – сказал он, – а ведь это, пожалуй, кто-то нашу свинью волокет.

– А разумеется, так. Пусти меня скорее, я пойду посмотрю: хорошо ли она заперта?

– Тебя пустить?.. Гм... гм...

– Ну дай же ключ, а то украдут свинью, и будем мы сидеть все Святки и без ковбас и без сала. Все добрые люди будут ковбасы есть, а мы будем только посматривать... Ого-го-го... слушай, слушай: чуешь, як ее волокут... Аж мне его жаль, как оно бедное порося, завизжало!.. Ну, пусти меня скорее: я пойду ее отниму.

– Ну да: так я тебя и пущу! Где это видано, чтобы баба на такое дело ходила – свинью отнимать! – отвечал казак, – лучше я встану и сам пойду отниму.

А на самом деле ему лень было вставать и страх не хотелось идти на мороз из теплой ха-

ты; но только и свинью ему было жалко, и он встал, накинул свитку и вышел за двери. Но тут и произошло то неразгаданное событие, которое несомненнейшими доказательствами укрепило за Керасивною такую ведьмовскую славу, что с сей поры всяк боялся Керасивну у себя в доме видеть, а не только в кумы ее звать, как это сдедал надменный Дукач.

VIII

Не успел осторожно шагавший казак Керасенко отворить хлев, где горестно завывала недовольная причиняемым ей беспокойством свинья, как на него из непроглядной темноты упало что-то широкое да мягкое, точно возовая дерюга, и в ту же минуту казака что-то стукнуло в загорбок, так что он упал на землю и насилу выпростался. Удостоверившись, что свинья цела и лежит на своем месте, Керасенко припер ее покрепче и пошел к хате досыпать ночь.

Но не тут-то было: не только самая хата, но и сени его оказались заперты. Он туда, он сюда – все заперто. Что за лихо? Стучал он, стучал; звал, звал жинку:

– Жинка? Христа! отопри скорее.

Керасивна не откликнулась.

– Тпфу ты, лихая баба: чего это она вздумала запереться и так скоро заснула! Христа! ей! жинка! Отчини!

Ничего не было: словно все замерло; даже и свинья спит, и та не хрюкает.

«Вот так штука! – подумал Керасенко, –

ишь как заснула! Ну да я вылезу через тын на улицу да подойду к окну; она близко у окна спит и сейчас меня услышит».

Он так и сделал: подошел к окну и ну стучать, но только что же он слышит? – жена его говорит:

– Спи, человек, спи: не зважай на то, що стучит: се чертяка у нас ходыт!

Казак стал сильнее стучать и покрикивать:

– Сейчас отчини, или я окно разобью.

Но тут Христя рассердилась и отозвалась:

– Кто это смеет в такую пору к честным людям стучаться?

– Да это я, твой муж.

– Какой мой муж?

– Известно какой твой муж – Керасенко.

– Мой муж дома, – иди себе, иди, кто ты там есть, не буди нас: мы с мужем вместе обнявшись спим.

«Что это такое? – подумал Керасенко, – неужели я все сплю и во сне вижу, или это взаправду деется?»

И он опять застучал и начал звать:

– Христя, а Христя! да отопри на божию

МИЛОСТЬ.

И все пристаёт, все пристаёт с этим; а та долго молчит – ничего не отвечает и потом опять отзовется:

– Да провались ты совсем, – кто такой привязался; говорю тебе, мой, муж дома, со мною рядом обнявшись лежит, – вот он.

– Это тебе, Христя, може показывается?

– Эге! спасиби тебе на том! Що же, хиба я така дурна, чи совсем нечувствительна, що ни в чем толку не знаю? Нет, мне это лучше знать, що показывается, а що не показывается. Вот он, вот мой чоловік, у меня совсем близенько... вот я его и перекрещу: господи Иисусе, а вот и поцелую: и обниму и опять поцелую... Так добре нам вместе, а ты, недобрый потаскун, иди себе сам до своей жинки – не мешай нам спать и целоваться. Добра ничь – иди с богом.

«Фу ты, сто чертов твоему батькови: что эта за притча! – пожимая плечами, рассуждал Керасенко. – Чего доброго, я, перелезши через тын, не обознался ли хатою. Только нет: это моя хата».

Он отошел на другую сторону широкой де-

ревенской улицы и стал считать от колодца с высоким журавлем.

– Первая, вторая, третья, пятая, седьмая, девятая... Вот это и есть моя девятая.

Пришел: опять стучит, опять зовет, и опять та же история: нет-нет отзовется женский голос, и все раз от раза с бульшим неудовольствием и все в одном и том же смысле:

– Иди прочь: мой муж со мною.

А голос Христи – несомненно ее голос.

– А ну, если твой чоловік с тобою, – пусть он заговорит.

– Чего ему со мною говорить, як мы уже все обговорили.

– Да я хочу послушать: есть ли там у тебя чоловік?

– А вже же есть: вот ты слухай, як мы станем целоваться.

– Тпфу, пропасти на них нет; в самом деле целуются, а меня уверяют, что я – не я, и куда-то совсем прочь домой посылают. Но погоди же: я не совсем глупый – я пойду соберу людей, и пусть люди скажут: мой это дом или нет, и я или кто другой муж моей жинки. – Слушай, Христя: я пойду людей будить.

– Да иди, иди, – отвечает голос, – только от нас отчепысь: мы вот двоечко нацеловались и смирененько обнявшись лежим, и хорошо нам. А до других ни до кого и дела нет.

Вдруг и другой, несомненно мужской голос то же самое утверждает:

– Мы двоечко нацеловались и теперь смирененько обнявшись лежим, а ты ступай к черту!

Ничего больше не оставалось делать: Керасенко убедился, что в его звании под бок к Христе подкатился кто-то другой, и он пошел будить соседей.

IX

Долго или коротко это шло, пока очумевший Керасенко успел добудиться и собрать к своему дому десятка два казаков и добровольно последовавших за мужьями любопытных казачек, – а Керасивна оставалась в своем положении и все уверяла всех, что со всеми с ними мара, а что ее муж с нею дома, лежит у нее на руке, и в доказательство не раз заставляла всех слушать, как она его целует. И все казаки и казачки это внимали и находили, что это никак не может быть фальшь, потому что поцелуи были настоящие, и притом из-за окна, хотя не особенно внятно, а все-таки хорошо слышался мужской голос, который, по уверению Керасивны, принадлежал ее мужу. И все слышали, как этот голос один раз приблизился к самому окну и оттуда, всех ужасая, сказал:

– Що вы, дурни, за марою ходите? – я дома лежу со своею жинкою; а это вас мара водит. Дайте ей всякий по одному доброму прочухану наотмашь, – она враз и рассыпится.

Казаки перекрестились, и кто из них бли-

же стоял к Керасенке, тот первый и съездил его изо всей силы по потылице, – но сам тотчас же дал тягу: а его примеру последовали другие. И Керасенко, получив от каждого по тумачу наотмашь, в одну минуту был жестоко исколочен и безжалостно брошен у порога своей заколдованной хаты, где какой-то коварный демон так усердно замещал его на супружеском ложе. Он более уже не пытался облегчить своего горя, а только, сидя на снежку, горько плакал, как совсем бы казаку и не пристало, и все как будто слышал, что его Керасивна целуется. Но, к счастью, все мучения человеческие имеют конец, – и это терзание Керасенки кончилось, – он заснул, и ему снилось, будто его жена взяла его за шиворот и перенесла на хорошо ему знакомую теплую постель, а когда он проснулся, в самом деле увидел себя на своей постели, в своей хате, а перед ним у припечки хлопотала, стряпая лепки с сыром, его молодцеватая Керасивна. Словом, все как следует – точно ничего необыкновенного и не случилось: ни про поросенка, ни про мару и помина не было. Керасенко же хотя и очень желал об этом загово-

ритель, но не знал: как за это взяться?

Казак на все только рукою махнул и с тех пор жил с своею Керасивною в мире и согласии, оставляя ее на всей ее воле и просторе, которыми она и пользовалась как знала. Она и торговала и ездила, куда хотела, и домашнее счастье ее от этого не страдало, благосостояние и опытность увеличивались. Но зато в общественном мнении Керасивна была потеряна: все знали, что она ведьма. Хитрая казачка против этого никогда не спорила, так как это давало ей своего рода апломб: ее боялись, чествовали и, приходя к ней за советами, приносили ей либо копу яиц, либо какой другой пригодный в хозяйстве подарок.

Х

Знал Керасивну и Дукач, и знал ее, разумеется, за женщину умную, с которой, окромя ее вдовства, во всяком причинном случае посоветоваться не лишнее. И как Дукач сам был человек нелюбимый, то он Керасивною не очень-то и брезговал. Люди говорили, будто не раз видали их стоявшими вдвоем под густою вербою, которая росла заплетенная в плетень, разделявший их огороды. Иные даже думали, что тут было немножко и какого-то греха, но это, разумеется, были сплетни. Просто Дукач и Керасивна, имевшие в своей репутации нечто общее, были знакомы и находили о чем поговорить друг с другом.

Так и теперь, в том досадительном случае, который последовал по поводу неудачного позыва кумовьев, Дукач вспомнил о Керасивне и, призвав ее на совет, рассказал ей причиненную ему всеми людьми досаду.

Выслушав это, Керасивна мало подумала и, тряхнув головою, прямо отрезала:

- А що же, пане Дукач: зовить меня кумою!
- Тебя кумою звать, – повторил в раздумье

Дукач.

– Да, или вы верите, що я видьма?

– Гм!.. говорят, будто ты видьма, а я у тебя хвоста не бач'ив.

– Да и не побачите.

– Гм! тебя кумою... а що на то все люди скажут?

– Се якие люди?.. те, що вам в хату и плюнуть не хотят идти?

– Правда, а що моя Дукачнха заговорит? Ведь она верит, що ты видьма?

– А вы ее боитесь?

– Боюсь... Я не такой дурень, як твой муж: я баб не боюсь и никого не боюсь: а тилько... ты вправду не видьма?

– Э, да, я бачу, вы, пане Дукач, такой же дурень! Ну так зовите же кого хотите.

– Гм! ну стой, стой, не сердись: будь ты вправду кумою. Только смотри, станет ли с тобою перегудинский поп крестить?

– А отчего не станет!

– Да бог его знает: он який-с такнй ученый – все от Писания начинается, – скажет: не моего прихода.

– Не бойтесь – не скажет; он хоть ученый, а

жинок добре слушае... Начнет от Писания, а кончит, як все люди, – на том, що жинка укажет. Добре его знаю и была с ним в компании, где он ничего пить не хотел. Говорит: «В Писании сказано: не упивайтесь вином, – в нем бо есть блуд». А я говорю: «Блуд таки блудом, а вы чарочку выпейте», – он и выпил.

– Выпил?

– Выпил.

– Ну так се добре: только смотри, щобы вин нам, выпивши, не испортил хлопца, – не назвал бы его Иваном або Николою.

– Ну вот! так я ему и дам, щоб христианское дитя да Николой назвать. Хиба я не знаю, что это московское имя.

– То-то и есть: Никола самый москаль.

Дело стояло еще за тем, что у Керасивны не было такой теплой и просторной шубы, чтобы везти дитя до Перегуд, а день был очень студень – настоящее «варварское время», но зато у Дукачихи была чудная шуба, крытая синею нанкою. Дукач ее достал и отдал без спроса жены Керасивне.

– На, – говорит, – одень и совсем ее себе возьми, только долго не копайся, щобы люди

не говорили, що у Дукача три дня було дитя не хрещено.

Керасивна насчет шубы немножко поломалась, но, однако, взяла ее. Она завернула далеко вверх подбитые заячьим мехом рукава, и все в хуторе видели, как ведьма, задорно заломив на затылок пестрый очипок, уселась рядом с Агапом в сани, запряженные парой крепких Дукачевых коней, и отправилась до попа Еремы в село Перегуды, до которого было с небольшим восемь верст. Когда Керасивна с Агапом отъезжали, любопытные люди видели, что и кум и кума были достаточно трезвы. Что хотя у Агапа, который правил лошадьми, была видна в коленях круглая барилочка с наливкою, но это, очевидно, назначалось для угощения причта. У Керасивны же за пазухою просторной синей заячьей шубы лежало дитя, с крещением которого должен был произойти самый странный случай, — что, впрочем, многие опытные люди живо почувствовали. Они знали, что бог не допустит, чтобы сын такого недоброго человека, как Дукач, был крещен, да еще через известную всем ведьму. Хороша бы после этого вышла и

вся крещеная вера!

Нет, бог справедлив: он этого не может допустить и не допустит.

Того же самого мнения была и Дукачиха. Она горько оплакивала ужасное самочинство своего мужа, избравшего единственному, долгожданному дитяти восприемницею заведомую ведьму.

При таких обстоятельствах и предсказаниях произошел отъезд Агапа и Керасивны с Дукачевым ребенком из села Парипс в Перегуды, к попу Ереме.

Это происходило в декабре, за два дня до Николы, часа за два до обеда, при довольно свежей погоде с забористым «московским» ветром, который тотчас же после выезда Агапа с Керасивною из хутора начал разыгрываться и превратился в жестокую бурю. Небо сверху заволокло свинцом; понизу заваялась снежистая пыль, и пошла лютая метель.

Все люди, желавшие зла Дукачеву ребенку, видя это, набожно перекрестились и чувствовали себя удовлетворенными: теперь уже не было никакого сомнения, что бог на их стороне.

XI

Предчувствия говорили недоброе и самому Дукачу; как он ни был крепок, а все-таки был доступен суеверному страху и – трусил. В самом деле, с того ли или не с того сталося, а буря, угрожавшая теперь кумовьям и ребенку, точно с цепи сорвалась как раз в то время, когда они выезжали за околицу. Но еще досаднее было, что Дукачиха, которая весь свой век провела в раболепном безмолвии пород мужем, вдруг разомкнула свои молчаливые уста и заговорила:

– На старость нам, в мое утешенье, бог нам дытину дал, а ты его съел.

– Это еще що? – остановил Дукач, – как я съел дитя?

– А так, що отдал его видьме. Где это по всему христианскому казачеству слыхано, чтобы видьми давали дитя крестить?

– А вот же она его и перекрестит.

– Никогда того не было, да и не будет, чтобы господь припустил до своей христианской купели лиходейскую видьму.

– Да кто тебе сказал, що Керасивна ведьма?

– Все это знают.

– Мало чего все говорят, да никто у нее хвоста не видел.

– Хвоста не видели, а видели, как она мужа оборачивала.

– Отчего же такого дурня и не оборачивать?

– И от Пиднебеснихи всех отворотила, чтобы у нее паляниц не покупали.

– Оттого, что Пиднебесная спит мягко и ночью тесто не бьет, у нее паляницы хуже.

– Да ведь с вами не стоворишь, а вы кого хотите, всех добрых людей спросите, и все добрые люди вам одно скажут, что Керасиха ведьма.

– На что нам других добрых людей пытаться, когда я сам добрый человек.

Дукачиха вскинула на мужа глаза и говорит:

– Как это... Это вы-то добрый человек?

– Да; а что же по-твоему, я разве не добрый человек?

– Разумеется, не добрый.

– Да кто тебе это сказал?

– А вам кто сказал, что вы добрый?

– А кто сказал, что я не добрый?

– А кому же вы какое-нибудь добро сделали?

– Какое я кому добро сделал!

– Да.

«А сто чертей... и правда, что же это я никак не могу припомнить: кому я сделал какое-нибудь добро?» – подумал непривычный к возражениям Дукач и, чтобы не слышать продолжения этого неприятного для него разговора, сказал:

– Вот того только и недоставало, чтобы я с тобою, с бабою, стал разговаривать.

И с этим, чтобы не быть более с женою с глаза на глаз в одной хате, он снял с полка отнятую некогда у Агапа смушковую шапку и пошел гулять по свету.

XII

Вероятно, на душе у Дукача было уже очень тяжело, когда он мог пробыть под открытым небом более двух часов, потому что на дворе стоял настоящий ад: буря сильно бушевала, и в сплошной снежной массе, которая тряслась и веялась, невозможно было перевести дыхание.

Если таково было близ жилья, в затишье, то что должно было происходить в открытой степи, в которой весь этот ужас должен был застать кумовьев и ребенка? Если это так невыносимо взрослому человеку, то много ли надо было, чтобы задушить этим дитя?

Дукач все это понимал и, вероятно, немало об этом думал, потому что он не для удовольствия же пролез через страшные сугробы к тянувшейся за селом гребле и сидел там в сумраке метели долго, долго – очевидно, с большим нетерпением поджидая чего-то там, где ничего нельзя было рассмотреть. Сколько Дукач ни стоял до самой темноты посредине гребли, – его никто не толкнул ни спереди, ни сбоку, и он никого не видал, кроме каких-то

длинных-предлинных привидений, которые точно хоровод водили вверху над его головою и сыпали на него снегом. Наконец это ему надоело, и когда быстро наступившие сумерки увеличили темноту, он крякнул, выпутал ноги из засыпавшего их сугроба и побрел домой.

Тяжело и долго путаясь по снегу, он не раз останавливался, терял дорогу и снова ее находил. Опять шел, шел и на что-то наткнулся, ощупал руками и убедился, что то был деревянный крест – высокий, высокий деревянный крест, какие в Малороссии ставят при дорогах.

«Эге, – это я, значит, вышел из села! Надо же мне взять назад», – подумал Дукач и повернул в другую сторону, но не сделал он и трех шагов, как крест был опять перед ним.

Казак постоял, перевел дух и, оправясь, пошел на другую руку, но и здесь крест опять загородил ему дорогу.

«Что он, движется, что ли, передо мною, или еще что творится», – и он начал разводить руками и опять нащупал крест, и еще один, и другой возле.

– Ага; вот теперь понимаю, где я: это я по-

пал на кладбище. Вон и огонек у нашего попа. Не хотел ледачий пустить ко мне свою поповпу окрестить детину. Да и не надо; только где же тут, у черта, должен быть сторож Матвейко?

И Дукач было пошел отыскивать сторожку, но вдруг скатился в какую-то яму и так треснулся обо что-то твердое, что долго оставался без чувств. Когда же он пришел в себя, то увидел, что вокруг него совершенно тихо, а над ним синеет небо и стоит звезда.

Дукач понял, что он в могиле, и заработал руками и ногами, но выбраться было трудно, и он добрый час провозился, прежде чем выкарабкался наружу, и с ожесточением плюнул.

Времени, должно быть, прошло добрая часина – буря заметно утихла, и на небе вызвездило.

XIII

Дукач пошел домой и очень удивился, что дни у него, ни у кого из соседей, ни в одной хате уже не было огня. Очевидно, что ночи уже ушло много. Неужели же и о сю пору Агап и Керасивна с ребенком еще не вернулись?

Дукач почувствовал в сердце давно ему незнакомое сжатие и отворил дверь нетвердою рукою.

В избе было темно, но в глухом угле за печкою слышалось жалобное всхлипывание.

Это плакала Дукачиха. Казак понял, в чем дело, но не выдержал и таки спросил:

– А неужели же до сих пор...

– Да, до сих пор ведьма еще ест мою дытину, – перебила Дукачиха.

– Ты глупая баба, – отрезал Дукач.

– Да, это вы меня такую глупую сделали; а я хоть и глупая, а все-таки не отдавала ведьми свою дытину.

– Да провались ты со своею ведьмою: я чуть шею не сломал, попал в могилу.

– Ага, в могилу... ну то она же и вас навела

в могилу. Идите лучше теперь кого-нибудь убейте.

– Кого убить? Что ты мелешь?

– Подите хоть овцу убейте, – а то недаром на вас могила зинула – умрете скоро. Да и дай бог: что уже нам таким, про которых все люди будут говорить, что мы свое дитя видьми отдали.

И она пошла опять вслух мечтать на эту тему, меж тем как Дукач все думал: где же в самом деле Агап? Куда он делся? Если они успели доехать до Перегуд прежде, чем разыгралась метель, то, конечно, они там переждали, пока метель улеглась, но в таком случае они должны были выехать, как только разъяснило, и до сих пор могли быть дома.

– Разве не хлебнул ли Агап лишнего из барнлочки?

Эта мысль показалась Дукачу статочною, и он поспешил сообщить ее Дукачпхе, но та еще лишь застонала:

– Что тут угадывать, не видать нам свое дитя: заела его видьма Керасивна, и она напустила на свет эту погоду, а сама теперь летает с ним по горам и пьет его алую кровку.

И досадила этим Дукачиха мужу до того, что он, обругав ее, взял опять с одного полка свою шапку, а с другого ружье и вышел, чтобы убить зайца и бросить его в ту могилу, в которую незадолго перед этим свалился, а жена его осталась выплакивать свое горе за припечком.

XIV

Огорченный и непривычным образом взволнованный казак в самом деле не знал, куда ему деться, но как у него уже сорвалось с языка про зайца, то он более машинально, чем сознательно, очутился на гумне, куда бегали шкодливые зайцы; сел под овсяным скирдом и задумался.

Предчувствия томили его, и горе кралось в его душу, и шевелили в ней терзающие воспоминания. Как ни неприятны были ему женины слова, но он признавал, что она права. Действительно, он во всю свою жизнь не сделал никому никакого добра, а между тем многим причинил много горя. И вот у него, из-за его же упрямства, гибнет единственное, долгожданное дитя, и сам он падает в могилу, что, по общему поверью, неминуемый злой знак. Завтра будут обо всем этом знать все люди, а все люди – это его враги... Но... может быть, дитя еще найдется, а он, чтобы не скучать, ночью подсядет и убьет зайца и тем отведет от своей головы угрожающую ему могилу.

И Дукач вздохнул и стал всматриваться: не прыгает ли где-нибудь по полю или не теребит ли, под скирдами заяц.

Оно так и было: заяц ждал его, как баран ждал Авраама: у крайнего скирда на занесенном снегом вровень с вершиною плетне сидел матерый русак. Он, очевидно, высматривал местность и занимал самую неподобную позицию для прицела.

Дукач был старый и опытный охотник, он видал много всяких охотничьих видов, но такой ловкой подставки под выстрел не видел и, чтобы не упустить ее, он недолго же думая приложился и выпалил.

Выстрел покатился, и одновременно с ним в воздухе пронесся какой-то слабый стон, но Дукачу некогда было раздумывать – он побежал, чтибы поскорей затоптать дымящийся пыж, и, наступив на него, остановился в самом беспокойном изумлении: заяц, до которого Дукач не добежал несколько шагов, продолжал сидеть на своем месте и не трогался.

Дукач опять струхнул: вправду: не шутит ли над ним дьявол, не оборотень ли это пред ним? И Дукач свалил ком снега и бросил им в

зайца. Ком попал по назначению и рассыпался, но заяц не трогался – только в воздухе опять что-то простонало. «Что за лихо такое», – подумал Дукач и, перекрестясь, осторожно подошел к тому, что он принимал за зайца, но что никогда зайцем не было, а было просто-напросто смушковая шапка, которая торчала из снега. Дукач схватил эту шапку и при свете звезд увидал мертвенное лицо племянника, облитое чем-то темным, липким, с сырым запахом. Это была кровь.

Дукач задрожал, бросил свою рушницу и пошел на село, где разбудил всех – всем рассказал свое злочинство; перед всеми каялся, говоря: «прав господь, меня наказуя, – идите откопайте их всех из-под снега, а меня свяжите и везите на суд».

Просьбу Дукача удовлетворили; его связали и посадили в чужой хате, а на гуменник пошли всем миром откапывать Агапа.

XV

Под белым ворохом снега, покрывавшего сани, были найдены окровавленный Агап и невредимая, хотя застывшая Керасивна, а на груди у нес совершенно благополучно спавший ребенок. Лошади стояли тут же, по брюхо в снегу, опустив понурые головы за плетень.

Едва их немножечко поосвободили от замета, как они тронулись и повезли застывших кумовьев и ребенка на хутор. Дукачиха не знала, что ей делать: грустить ли о несчастье мужа или более радоваться о спасении ребенка. Взяв мальчика на руки и поднеся его к огню, она увидала на нем крест и тотчас радостно заплакала, а потом подняла его к иконе и с горячим восторгом, глубоко растроганным голосом сказала:

– Господи! за то, что ты его спас и взял под свой крест, и я не забуду твоей ласки, я вскормлю дитя – и отдам его тебе: пусть будет твоим слугою.

Так дан был обет, который имеет большое значение в нашей истории, где до сих пор

еще не видать ничего касающегося «некрещеного попа», меж тем как он уже есть тут, точно «шапка», которая была у Агапа, когда казалось, что ее будто и нет.

Но продолжаю историю: дитя было здорово; нехитрыми крестьянскими средствами скоро принели в себя и Керасивну, которая, однако, из всего вокруг нее происходившего ничего не понимала и твердила только одно:

– Дытина крещена, – и зовите его Савкою.

Этого было довольно для такого суматошного случая, да и имя к тому же было всем по вкусу. Даже расстроенный Дукач, и тот его одобрил и сказал:

– Спасибо перегудинскому попу, що вин не испортил хлопца и не назвал его Николою.

Тут Керасивна уже совсем оправилась и заговорила, что поп было хотел назвать дитя Николою: «так, говорит, по церковной книге идет», только она его переспорила: «я сказала, да бог с ними, сии церковные книги: на що вони нам сдалися; а это не можно, чтобы казачье дитя по-московськи Николою звалось».

– Ты умная казачка, – похвалил ее Дукач и наказал жене подарить ей корову, а сам обе-

щал, если уцелеет, и еще чем-нибудь не забыть ее услуги.

На этом пока и покончилось крестное дело, и наступала долгая и мрачная пора похоронная. Агап так и не пришел в себя: его густым столбом дробы расстрелянная голова почернела прежде, чем ее успели обмыть, и к вечеру наступившего дня он отдал богу свою многострадавшую душу. Этим же вечером три казака, вооруженные длинными палками, отвели старого Дукача в город и сдали его там начальству, которое поместило его как убийцу в острог.

Агапа схоронили, Дукач судился, дитя росло, а Керасивна хотя и поправилась, но все не «сдужала» и сильно изменилась, – все она ходила как не своя. Она стала тиха, грустна и часто задумывалась; и совсем не ссорилась со своим Керасенко, который понять не мог, что такое подеялось с его жинкою? Жизнь его, до сих пор столь зависимая от ее настойчивости и своенравия, – стала самую безмятежную: он не слышал от жены ни в чем ни возражения, ни попрека и, не видя более ни во сне, ни наяву рогачевского дворянина, – не знал, как

своим счастьем нахвастаться. Эту удивительную перемену в характере Керасивны долго и тщетно обсуждали и на торгу в местечке: сами подружки ее – горластые перекупки говорили, что она «вся здобрилась». И впрямь, не только одного, а даже хоть двух покупателей от ее лотка с палянницами отбей, она, бывало, даже ни одного черта не посулит ни отцу, ни матери, ни другим сродникам. Про рогачевского же дворянина был даже такой слух, что он будто два раза показывался в Парипсах, но Керасивна на него и смотреть не хотела. Сама соперница ее, пекарша Поднебесная, – и та, не хотя губить своей души, говорила, что слышала, будто один раз этот паныч, подойдя к Керасивне купить паляницу, получил от нее такой ответ:

– Иди от меня, щобы мои очи тебя никогда не бачили. Нег у меня для тебя больше ничего, ни дарового, ни продажного.

А когда паныч ее спросил, что такое ей приключилось? то она отвечала:

– Так – тяжко: бо маю тайну велькую.

Перевернуло это дело и старого Дукача, которого, при добрых старых порядках, целые

три года судили и томили в тюрьме по подозрению, что он умышленно убил племянника, а потом, как неодобренного в поведении односельцами, чуть не сослали на поселение. Но дело кончилось тем, что односельцы смиловались и согласились его принять, как только он отбудет в монастыре назначенное ему церковное покаяние.

Дукач оставался на родине только по снисхождению тех самых людей, которых он презирал и ненавидел всю жизнь... Это был ему ужасный урок, и Дукач его отлично принял. Отбыв свое формальное покаяние, он после пяти лет отсутствия из дому пришел в Парипсы очень добрым стариком, всем повинулся в своей гордости, у всех испросил себе прощение и опять ушел в тот монастырь, где каялся по судебному решению, и туда же снес свой казанок с рублевиками на молитвы «за три души». Какие это были три души – того Дукач и сам не знал, но так говорила ему Керасивна, что чрез его ужасный характер пропал не один Агап, а еще две души, про которые знает бог да она – Керасивна, но только сказать этого никому не может.

Так это и осталось загадкой, за которую в монастыре отвечал казанок, полный толстых старинных рублевиков.

Меж тем дитя, которого появление на свет и крещение сопровождалось описанными событиями, подросло. Воспитанное матерью – простою, но очень доброю и нежною женщиною, – оно и само радовало ее нежностью и добротою. Напоминаю вам, что когда это дитя было подано матери с груди Керасивны, то Дукачиха «обрекла его богу». Такие «оброки» водились в Малороссии относительно еще в весьма недавнюю пору и исполнялись точно – особенно, если сами «оброчные дети» тому не противились. Впрочем, случаи противления если и бывали, то не часто, вероятно потому – что «оброчные дети» с самого измательства уже так и воспитывались, чтобы их дух и характер раскрывались в приспособительном настроении. Достигая в таком направлении известного возраста, дитя не только не противоречило родительскому «оброку», но даже само стремилось к выполнению оброка с тем благоговейным чувством покорности, которая доступна только живой вере и

любви. Савва Дукачев был воспитан именно по такому рецепту и рано обнаружил склонность к исполнению данных матерью за него обетов. Еще в самом детском возрасте при несколько нежном и слабом сложении он отличался богобоязненностью. Он не только никогда не разорял гнезд, не душил котят, не сек хворостинной лягушек, но все слабые существа имели в нем своего защитника. Слово нежной матери было для него закон, – сколько священный, столь же и приятный, – потому что он во всем согласовался с потребностями собственного нежного сердца ребенка. Любить бога было для него потребностью и высшим удовольствием, и он любил его во всем, что отражает в себе бога и делает его и понятным, и неоцененным для того, к кому он пришел и у кого сотворил себе обитель. Вся обстановка ребенка была религиозная: мать его была благочестива и богомольна; отец его даже жил в монастыре и в чем-то каялся. – Ребенок из немногих полунамеков знал, что с его рождением связано что-то такое, что изменило весь их домашний быт, – и все это получало в его глазах мистический характер. Он рос

под кровом бога и знал, что из рук его – его никто не возьмет. В восемь лет его отдали учить к брату Пиднебеснихи, Охриму Пиднебесному, который жил в Парипсах, в закоулочке за сестриным шинком, но не имел к этому заведению никакого касательства, а вел жизнь необыкновенную.

XVI

Охрим Пиднебесный принадлежал к новому, очень интересному малороссийскому типу, который начал обозначаться и формироваться в заднепровских селениях едва ли не с первой четверти текущего столетия. Тип этот к настоящему времени уже совсем определился и отчетливо выразился своим сильным влиянием на религиозное настроение местного населения. Поистине удивительно, что наши народоведы и народолюбцы, копавшиеся во всех мелочах народной жизни, просмотрели или не сочли достойными своего внимания малороссийских простолюдинов, которые пустили совершенно новую струю в религиозный обиход южнорусского народа. – Здесь это сделать некогда, да и мне не по силам; я вам только коротко скажу, что это были какие-то *отшельники в миру*: они строили себе маленькие хаточки при своих родных домах, где-нибудь в закоулочке, жили чисто и опрятно – как душевно, так и во внешности. Они никого не избегали и не чуждались – трудились и работали вместе с семейными и да-

же были образцами трудолюбия и домовитости, не уклонялись и от беседы, но во все вносили свой, немножко пуританский, характер. Они очень уважали «изученность», и каждый из них непременно был грамотен; а грамотность эта самым главным образом употреблялась для изучения слова божия, за которое они принимались с пламенной ревностью и благоговением, а также с предубеждением, что оно сохранилось в чистоте только в одной книге Нового завета, а в «преданиях человеческих», которым следует духовенство, – все извращено и перепорчено. Говорят, будто такие мысли внушены им немецкими колонистами, но, по-моему, все равно – кем это внушено, – я знаю только одно, что из этого потом вышла так называемая «штунда».

Холостой брат Пиднебеснихи, казак Охрим, был из людей этого сорта: он сам научился грамоте и Писанию и считал своею обязанностью научить всему этому и других. Учил он кого только мог, и всегда задаром – ожидая за свой труд той платы, которая обещана каждому, «кто научит и наставит». Учительство это обыкновенно ослабевало летом,

во время полевых работ, но зато усиливалось с осени и шло неослабно во всю зиму до весенней пашни. Дети учились днем, а по вечерам у Пиднебесного собирались «вечерницы» – рабочие посиделки, – так, как и у прочих людей. Только у Охрима не пели пустых песен и не вели празднослова, а дивчата пряли лен и волну, а сам Охрим, выставив на стол тарелку меду и тарелку орехов для угощения «во имя Христова», просил за это потчевание позволить ему «поговорить о Христе». Молодой народ это ему дозволял, и Охрим услаждал добрые души медом, орехами и евангельскою беседою и скоро так их к этому приохотил, что ни одна девица и ни один парень не хотели и идти на вечерницы в другое место. Беседы пошли даже и без меду, и без орехов.

На Охримовых вечерницах также происходили и сближения, последствием которых являлись браки, но тут тоже была замечена очень странная особенность, необыкновенно послужившая в пользу Охримовой репутации: все молодые люди, полюбившиеся между собою на вечерницах Охрима и потом сде-

лавшиеся супругами, – были, как на отбор, счастливы друг другом. Конечно, это всего вероятнее происходило оттого, что их сближение происходило в мирной атмосфере духовности, а не в мятеже разгульной страстности – когда выбором руководит желанье крови, а не чуткое влечение сердца. Словом, велось по Писанию: «Господь вселял в дом единомысленные, а не преогорчевающие». Так все шло в пользу репутации Пиднебесного, который, несмотря на свою простоту и неприязнительность, стал в Парипсах в самое почетное положение – человека богоугодного. К нему не ходили на суд только потому, что он никого не судил, а научиться у него желали все, «ожидавшие воскресения».

XVII

Таких людей, как Охрим Пиднебесный, в Малороссии в то время обозначилось несколько, но все они крылись без шума и долго оставались незамеченными для всех, кроме крестьянского мира.

Спустя целую четверть столетия эти люди сами сказались, явясь в обширном и тесно сплоченном религиозном союзе, который называется «штундою». Я очень хорошо знал одного из таких вожаков: это был приветливый, добрый холостой казак-девственник. Как большинство его товарищей, он научился грамоте самоучкою и обучил один всех окрестных ребят и девушек. Последних он учил на вечерницах, или, по-великорусскому, на «посиделках», на которые они собирались к нему с работою. Девушки пряли и шили, а он рассказывал о Христе.

Толкования его были самые простые, совсем чуждые всякой догматики и богослужебных установлений, а имеющие почти исключительно цели нравственного воспитания человека по идеям Иисуса. Мой знакомый ка-

зак-проповедник жил, однако, *на левой* стороне Днепра, в местности, где еще нет штунды.

Впрочем, в то время, к которому относится рассказ, учение это еще не имело ничего сформированного и по правому днепровскому берегу.

XVIII

Хлопца Дукачева Савку отдали учить грамоте к Пиднебссиому, а тот, заметив, с одной стороны, быстрые способности ребенка, а с другой, его горячую религиозность, очень его полюбил. Савва платил своему чистосердечному учителю тем же. Так между ними образовалась связь, которая оказалась до такой степени крепкою и нежною, что когда старый Дукач взял сына в монастырь, чтобы там посвятить его по материнскому обету на служение богу, то мальчик затосковал невыносимо, не столько по матери, сколько о своем простодушном учителе. И эта тоска так повлияла на слабую организацию нежного ребенка, что он скоро заболел, слег и наверно бы умер, если бы его неожиданно не навестил Пиднебесный.

Он понял причину недуга своего маленького друга и, вернувшись в Парипсы, сумел внушить Дукачихе, что жертва богу не должна быть детоубийством. А потому советовал не томить более дитя в монастыре, а устроить его в «живую жертву», Пиднебесный указы-

вал путь не совсем чуждый и незнакомый малороссийскому казачеству: он советовал отдать Савву в духовное училище, откуда он потом может перейти в семинарию – и может сделаться сельским священником, а всякий сельский священник может сделать много добра бедным и темным людям и стать через это другом Христовым и другом Божиим.

Дукачиха убедилась доводами Охрима, и отрок Савка был взят из монастыря и отвезен в духовное училище. Это все одобряли, кроме одной Керасивны, в которую, вероятно за ее старые грехи, – вселился какой-то сумрачный дух противоречия, сказывавшийся весьма неистовыми выходками, когда дело касалось ее крестника. Она его как будто и любила и жалела, а между тем бог знает как на его счет смущала.

Это началось еще с самого младенчества: понесут, бывало, Савку причащать – Керасивна кричит:

– Що вы робите! не надо; не носить его... се така дытына... неможна его причащать.

Не послушают ее – она вся позеленеет и либо смеется, либо просит народ в церкви:

– Пустите меня скорее вон, – щоб мои очи не бачили, як ему будут Христовой крови давать.

На вопросы: что это ее так смущает? – она отвечала:

– Так, мени тяжко! – из чего все и заключили, что с тех пор, как она поисправилась в своей жизни и больше не колдует, черт нашел в ее душе убранную хороминку и вернулся туда, приведя с собою еще несколько других «бисов», которые не любят ребенка Савку.

И впрямь, «бисы» жестоко расхлопотались, когда Савку повезли в монастырь: они так поджигали Керасивну, что та больше трех верст гналась за санями, крича:

– Не губите свою душу – не везите его в монастырь, – бо оно к сему не сдатное.

Но ее, разумеется, не послушали. теперь же, когда пошла речь об определении мальчика в училище, «откуда в попы выходят», с Керасивной сделалась беда: ее ударил паралич, и она надолго потеряла дар слова, который возвратился к ней, когда дитя уже было определено.

Правда, что при определении Савки яви-

лось было и еще одно маленькое препятствие, которое состояло в том, что никак не могли найти его записанным в метрические книги перегудинской церкви, но это ужасное обстоятельство для школ гражданских – в духовных училищах принимается несколько мягче. В духовных училищах знают, что духовенство часто позабывает вписывать своих детей в метрики. Окрестивши, хорошенько подвыпьют – боятся писать, что руки трясутся; назавтра похмеляются; на третий день ходят без памяти, а потом так и забудут вписать. Случаи такие известны, и, конечно, так это было и здесь, а потому хотя смотритель руганул причет пьяницами, но мальчика принял, как он записан по исповедным росписям. А в исповедных росписях Савва был записан прекрасно: точно, и даже не по одному разу в год.

Этим все дело и исправили, – и пошел хороший мальчик Савка отлично учиться – окончил училище, окончил семинарию и был назначен в академию, но неожиданно для всех отказался и объявил желание быть простым священником, и то непременно в сель-

ском приходе. Отец молодого богослова – старый Дукач к этому времени уже умер, но мать его, старушка, еще жила в тех же Парипсах, где как раз об эту пору скончался священник и открылась ваканция. Молодой человек и попал на это место. Неожиданная весть о таком назначении очень обрадовала парипсянских казаков, но зато совершенно лишила смысла остаревшую Керасивну.

Услышав, что ее крестник Савва ставится в попы, она без стыда разорвала на себе плахту и наместо; пала на кучу перегноя и выла:

– Ой земля, земля! возьми нас обоих! – Но потом, когда этот дух ее немножко поосвободил, она встала, начала креститься и ушла к себе в хату. А через час ее видели, как она вся в темном уборчике и с палочкой в руках шла большим шляхом в губернский город, где должно было происходить поставление Саввы Дукачева в священники.

Несколько человек встретили на этом шляхе Керасивну и видели, что она шла очень поспешаючи, – ни отдыхать не садилась и ни о чем не разговаривала, а имела такой вид, как бы на смерть шла: все вверх гля-

дела и шепотом что-то шептала, – верно, богу молилась. Но бог и тут не внял ее молитве. Хотя она и попала в собор в ту самую минуту, когда дьяконы, наявивая ставленника в шею, крикнули «повелите», но никто не внял тому, что из толпы одна сельская баба крикнула: «Ой, не велю ж, не велю!» Ставленника постригли, а бабу выпхали и отпустили, продержав дней десять в полиции, пока она перестирала приставу все белье и нарубила две кади капусты. – Керасивна об одном только интересовалась: «чи вже Савка пип?» И, узнав, что он поп, она пала на колени и так на коленях и проползла восемь – десять верст до своих Парипс, куда этими днями уже прибыл и новый «пип Савка».

XIX

Парипсянские казаки, как сказано, были очень рады, что им назначили пана-отца из их же казачьего рода, и встретили попа Савву с большим радушием. Особенно их расположило к нему еще то, что он был очень почтителен с старой матерью и сейчас же, как приехал, спросил про свою «крестную», — хотя наверно слышал, что она была и такая, и сякая, и ведьма. Он ничем этим не погнушался. Вообще всем показалось, что человек этот обещал быть очень добрым священником, и он таким и был на самом деле. Все его полюбили, и даже Керасивна ничего против него не говорила, а только порою супила брови да вздыхала, шепча:

– Усе бы добре, да як бы в сей юшке рыбка была.

Но рыбки в ухе, по ее мнению, не было, а без рыбы нет и уши. Стало быть, как ни хорош поп Савва, а он ничего не стоит, и это непременно должно обнаружиться.

И впрямь — в нем начали замечаться странности: во-первых, он был беден, но со-

вершенно равнодушен к деньгам. Во-вторых, вскоре овдовев, он не выл и не брал себе молодой наймычки; в-третьих, когда несколько женщин пришли ему сказать, что идут по обету в Киев, то он советовал заменить их поход обетом послужить больным и бедным, а прежде всего успокоить семью заботами о доброй жизни; а что касается данного обета, — он оказал неслыханную дерзость — вызвался разрешить его и взять ответ на себя. «Разрешить обет, данный угодникам...» Это многим показалось таким богохульством, которое едва ли возможно для человека крещеного. Но и на этом дело не остановилось — поп Савва вскоре же дал противу себя еще бульшие сомнения: в первый же Великий пост, когда все прихожане перебивали у него па духу, оказалось, что он ни одному человеку не запретил есть, что ему бог послал, и никому не назначил епитимных поклонов, и если и были от него кому-нибудь епитимные назначения, то они показывали новые странности. Так, например, мельнику Гаврилке, который заведомо брал за помол очень глубоким ковшом, отец Савва настоятельно наказал сейчас же

после исповеди сострогнуть в этом ковше края, чтобы не брать лишнего зерна. Иначе не хотел дать ему причастия – и привел ему на то доводы от Писания, что неправая мера бога гневает и может навлечь наказание. Мельник послушался, и все перестали им обижаться, и повалил на его мельницу помол без перерыва. Он всенародно признался, что так с ним Саввина епитимия сделала. Молодая, очень горячая бабенка, бывшая за вторым мужем, лютовала над первобрачными детьми. Отец Савва и в это дело вмешался, и после первого же своего говенья у него молодая мачеха как переродилась и стала добра к падчерицам и к пасынкам. Жертвы за грехи он хотя и принимал, – но не на ладан и не на свечи, а для двух бездомных и бесприютных сироток Михалки и Потапки, которые жили у попа Саввы в землянке под колокольной.

– Да, – скажет, бывало, поп Савва бабе или девушке, – дай бог, чтобы тебе это было прощено и чтобы ты вперед не согрешала, а ты для того поусердствуй: послужи господу.

– Радым рада, батечку, тильки не знаю: чим ему услуговать... хиба сходить у Киев.

– Нет, никуда далеко ходить не надо, – дома трудись и не делай того, что делала, а теперь сейчас пойдешь смеряя божиих деток Михалку да Потапку и сшей им по порточкам, хоть по коротеньким, да по сорочке. А то велики стали – стыдятся, голые пузенья людям казать.

Грешницы охотно несли и эту епитимию, и Михалка с Потапкой жили под опекою отца Саввы, как у самого Христа за пазушкой – и не только «голых пузень» не показывали, но и всего своего сиротства почти не замечали.

И подобные епитимии о. Саввы были не только всем под силу, но и многим очень по сердцу – даже утешительны. Только, наконец, о. Савва выкинул такую штуку, которая ему обошлась дорого. Стали к нему, в его маленькую церковку ходить окольные люди из перегудинского прихода, где он был крещен и где теперь был уже другой поп – не тот, с которым выпивала в своей молодости Керасивна и к которому она возила по знакомству крестить Дукачева Савку. Это положило начало недружеству со стороны перегудинского попа к о. Савве, а тут произошел другой вредный

случай; умер перегудинский прихожанин, богатый казак Оселедец, и, умирая, хотел завещать «копу рублей на велький дзвин», то есть на покупку большого колокола, но вдруг, поговорив перед самою смертью с отцом Саввою, круто отменил свое намерение и ничего не назначил на велький дзвин, а призвал трех хороших хозяев и объявил, что отдает им эту копу грошей с завещанием употребить их на ту «божу потребу, яку скаже пан-отец Савва». – Казак Оселедец умер, а пан-отец Савва указал построить за его копу грошей светлую хату с растворчатыми окнами и стал собирать в нее ребят да учить их грамоте и слову божию.

Кзаки думали, что это, пожалуй, дело хорошее, но не знали: богоугодное ли оно дело; а перегудинский поп это им вытолковывал так, что дело выходит не богоугодное. Про то он обещал и донос писать, и написал. Отца Савву звали к архиерею, но отпустили с миром, и он продолжал свое дело: служил и учил и в школе, и дома, и на поле, и в своей малой деревянной церковке. Времени прошло несколько лет. Перегудинский поп, со-

ревнуя отцу Савве, эту порою отстроил каменную церковь не в пример лучше парипсянской и богатый образ достал, от которого людям разные чудеса сказывал, но поп Савва и его чудесам не завидовал, а все вел свое тихое дело по-своему. Он в той же деревянной маленькой церкви молился и божие слово читал, и его маленькая церковка ему с людьми хоть порою тесна была, да зато перегудинскому попу в его каменном храме так было просторно, что он чуть ли не сам-друг с пономарем по всей церкви расхаживал и смотрел, как смело на амвон церковная мышь выбегала и опять под амвон пряталась. И стало это перегудинскому попу, наконец, очень досадно, но он мог лютовать на своего парипсянского соседа, отца Савву, сколько хотел, а вреда ему никакого сделать не мог, потому что нечем ему было под отца Савву подкопаться, да и архиерей стоял за Савву до того, что оправдал его даже в той великой вине, что он переменял настроение казака Оселедца, копа грошей которого пошла не на дзвин, а на школу. Долго перегудинский поп это терпел, довольствуясь только тем, что сочинял

на Савву какие-нибудь нескладицы вроде того, что он чародей и его крестная матка была всем известная в молодости гулячка и до сих пор остается ведьмой, потому что никому на духу не кается и не может умереть, ибо в Писании сказано: «не хочет бог смерти грешника», но хочет, чтоб он обратился. А она не обращается, – говеет, а на дух не ходит.

Это таки и была правда: старая Керасивна, давно оставившая все свои слабости, хоть и жила честно и богобоязненно, но к исповеди не ходила. Ну и возродились опять толки, что она ведьма и что, может быть, и вправду панотец Савва хорош «за ее помощью».

Стал такой говор, а тут к делу подоспел другой пустой случай: стало у коров молоко пропадать... Кто этому мог быть виноват, как не ведьма; а кто еще бтльшая ведьма, как не старая Керасивна, которая, всем известно, на целое село мару напускала, мужа чертом обрачивала и теперь пережила на селе всех своих сверстников и ровесников и все живет и ни исповедоваться, ни умирать не хочет.

Надо было довести ее до того и до другого, и за это взяли несколько добрых людей,

давших себе слово: кто первый встретит старую Керасивну в темном месте, – ударить ее, – как надлежит настоящему православному христианину бить ведьму, – один раз чем попало *наотмашь* и сказать ей:

– Издыхай, а то еще бить буду.

И одному из тех богочтителей, которые взялись за такой подвиг, посчастливилось: повстречал он старую Керасивну в безлюдном закоулке и сподобился так угостить ее с одного приема, что она тут же кувырнулась ничком и простонала:

– Ой, умираю: зовите попа – исповедаться хочу.

Сразу ведьма узнала, за что ее ударили!

Но чуть перетащили ее домой и прибежал к ней в перепуге отец Савва, она опять передумала и начала оттягивать:

– Мне у тебя, – говорит, – нельзя исповедаться, – твоя исповедь не пользует, – хочу другого попа!

Добрый отец Савва сейчас же на своей лошадке послал в Перегуды за своим порицателем – тамошним священником, и одного опасался, что тот закобенится и не приедет; но

опасение это было напрасно: перегудинский поп приехал, вошел к умирающей и оставался с нею долго, долго; а потом вышел из хаты на крылечко, заложил дароносицу за пазуху и ну заливаться самым непристойным смехом. Так смеется, так смеется, что и унять его нельзя, и люди смотрят на него и понять не могут: к чему это статочно.

– Да ну бо, – годи вам, пан-отче: что-то Вы так смиетесь, що нам аж страшно, – говорят ему люди.

А он отвечает:

– О, то же оно так и надлежит, щобы вам було страшно; да щобы всим страшно було – на весь крещеный мир, бо у вас тут такое поганство завелось, якого от самого первого дня – от святого князя Владимира не було.

– О, да бог з вами, – не пужайте так страшно: идить, будьте ласковы швидче до отца Саввы – с ним поговорить: нехай вин що добре вздумае, – як помогты хрыстияньским душам.

А перегудинский поп еще больше расхохотался и вдруг весь позеленел, глаза выпучил и отвечает:

– Дурни вы все – темны и непросвещенные люди: школу себе вывели, а ничего не бачите.

– Да того же мы вас и просим: идите до нашего отца Саввы, – вин вас у себя в хате дожида: сядьте с ним поговорить: вин все бачит.

– Бачит! – закричал перегудинский поп. – Ни; ничего вин не бачит: вин и того не зна: кто вин сам такой есть на свити!

– Се мы все знаемо, що вин наш пан-отец – пип.

– Пип!

– А вже ж пип.

– А я вам кажу, що вин совсим и не пип!

– Як не пип?

– А так, не пип, да и не христианин.

– Як не христианин! годи бо вам: що се вы брешете?

– А ни: не брешу – он не христианин.

– А що ж вин таке?

– Що вин таке?

– Да!

– А бисяка его знае, що вин таке!

Люди даже отшатнулись и перекрестились, а перегудинский поп сел в сани и говорит:

– Вот я прямо от вас еду к благочинному и везу ему такую весть, що на весь мир христианский будет срам великий, и тогда вы побачите, що и пип ваш – не пип и не христианин, и дитки ваши не христиане, а кого он из вас венчав – те все равно что не венчаны, и те, которых схоронил, – умерли яко псы, без отпущения, и мучатся там в пекле, и будут вик мучиться, и никто их оттуда выратувать не может. Да; и все это, что я говорю, – есть великая правда, и с тем я до благочинного еду, а вы если мне не верите, – идите все зараз до Керасихи, и поки она еще дышит, – я приказал ей под страшным заклитием, чтобы она вам все рассказала: кто есть таков сей чоловік, що вы зовете своим попом Саввою. Да, годи уже ему людей портить: вон и сорока села у него на крыше и кричит: «Савка, скинь кафтан!» Ничего; скоро увидимся. – Хлопче! погоняй до благочинного, а ты, сорочка, чекочи громче: «Савка, скинь кафтан!» А мы с благочинным сейчас назад будем.

С этим перегудинский поп ускакал, а люди, сколько их тут было, – хотели все кучей валить в хатку Керасивны, – чтобы допытать

ее: что такое она наговорила про своего крестника – отца Савву; но, мало подумавши, решили сделать еще иначе, послать к ней двух казаков, да чтобы с ними третий был сам поп Савва.

Пришли казаки и отец Савва и застали Кепрасивну, что она лежит под образами и сама горько-прегорько плачет.

– Прости меня, – говорит, – мое серденько, мое милое да несчастливое, – заговорила она до Саввы, – носила я в своем сердце твою тайную причину, а свою вину больше як тридцать лет и боялась не только наяву ее никому не сказать, но шчоб и во сне не сбредила, и оттого столько лет и на дух не шла, ну а теперь, когда всевышнему предстать нужно, – все открыла.

Отец Савва, может быть, и струсил немножко чего-нибудь, потому что вся эта тайна его слишком сурово дотрогивалася, но виду не показал, а спокойно говорит:

– Да што таке за дило вельке?

– Грех велький я содеяла, и именно над тобою.

– Надо мною? – переспросил отец Савва.

– Да, над тобою: я тебе все в жизни испортила, потому что хотя ты и Писанию научен и в попы поставлен, а ни к чему ты к этому не

годишься, потому что ты сам до сих пор нехрещеный чело-вик.

Не мудрено себе представить, чтт должен был почувствовать при таком открытии отец Савва. Он сначала было принял это за болезненный бред умирающей – даже улыбнулся на ее слова и сказал:

– Полно, полно, крестнинькая: как же я некрещеный, когда ты моя крестная?

Но Керасивна обнаруживала полную ясность ума и последовательность в своем рассказе.

– Оставь про это, – сказала она. – Якая я тебе крестная? Никто тебя не крестил. И кто во всем этом виноват, – я не знаю и во всю жизнь не могла узнать: зрбилось ли это от наших грехов или, может быть, больше от Николиной велькой московськой хитрости. Но вот идет персгудинский пан-отец с благочинным – сиди и ты здесь, – я всем все расскажу.

Благочинный было не хотел, чтобы отец Савва и казаки слушали признания Керасивны, но она настояла на своем, под угрозой, что иначе не будет рассказывать.

Вот ее исповедь.

— Пап Савва, — говорит, — совсем и не поп и не Савва, а человек некрещеный, и это дело я одна знаю на свете. Пошло это все с того, что его покойный отец, старый Дукач, был очень лют: все его не любили и все боялись, и когда у него родился сын, никто не хотел идти в кумовья, чтобы крестить это дытя. Звал старый Дукач и судейского паныча и дочку нашего покойного пана-отца, да никто не пошел. Тогда старый Дукач еще больше разлютовался на весь народ и на самого пана-отца — и его самого не захотел крестить просить. «Обойдусь, говорит, без всего, без их звания». Кликнул племянника Агапку, что у него по сиротству в дурнях жил, да и велел пару коней запрячь и меня кумою позвал: «Поезжай, говорит, Керасивна, с Агапом в чужое село и нынче же окрестите мою дытину». И он мне шубу подарил, только бог с нею, — я ее после того случая и не надевала: вон она как и теперь через все тридцать лет цела висит. И наказал мне Дукач одно, что «смотри, говорит, як Агап человек глупый, он ничего

сделать не сумеет, то ты гляди, добре с попом уладьтесь, щобы он, чего боже борони, по какой ни есть злобе не дал хлопну якого имени не христианского, трудного, або московского. На двори у нас Варварин день, а то очень опасно, – бо тут коло Варвары сряду близко Никола живет, а Никола и есть самый первый москаль, и он нам, казакам, ни в чем не помогает, а все на московскую руку тянет. Що там где ни случись, хоть и наша правда, – а он пойдет, так-сяк перед богом наговорит, и все на московскую руку сделает, и своих москалей выкрутит и оправит, а казачество обидит. Борони бог нам и детей в его имя называть. А вот тут же рядом с ним живет святой Савка. Этот из казаков и до нас дуже добрый. Який он там ни есть, хоть и не важный, а своего казака не выдаст».

Я говорю:

«Се так: да маломочен вин, святой Савка!»

А Дукач говорит:

«Ничего, что маломочен, – зато вин дуже штуковатый: где его сила не возьмет, так на хитрость подыметя и как-нибудь да отстоит казака. А мы ему в силе сами помочь дадим,

станем свечи ставить и молебен споем: бог побачит, що и святого Савку люди добре почитают, и сам на его увагу поверне, а вин тогда и подсилится».

Я все, что Дукач просил, – ему обещала. И завернула малтго в шубу, крест его себе на шею надела, а в ноги барилочку с сливянкой поставили, и поехали. Но только мы с версту отъехали, как поднялась метель – просто ехать нельзя: зги никакой не видно.

Я говорю Агапу:

«Нельзя нам ехать, – воротимся!»

А он дяди боялся и ни за что не хотел воротиться.

«Бог даст, – говорит, – доедем. А мне чи замерзнуть, чи меня дядько убье – то все едино».

И все коней погоняет, и как уперся, так на своем и стоит.

А тем временем стало темнеть, и сделалось не видно и следа. Едем мы, едем, и не знаем, куда едем. Кони туда-сюда вертят, крутятся, – и никуда не приедем. Перезябли мы страшно и, чтобы не застыть, взяли и сами потянули из той барилочки, что перегудин-

скому попу везли. А я на дитя посмотрела: думала – борони бог, не задохло бы. Нет, тепленькое лежит и дышит так, что даже парок от него валит. Я ему дырочку над личиком прокопала – пусть дышит, и опять поехали, и опять ездили, ездили, видим, мы опять все крутимся, и нет нам во тьме никакого просвета, а кони куда знают, туда и воротят. Теперь уже и домой вернуться, как раньше думали, чтобы переждать метель, и того нельзя, – нельзя уже стало и знать, куда ворочаться: где Парипсы, а где Перегуды. Я послала Агапа, чтобы встал да коней на поводу вел, а он говорит: «Якая ты умная! мне холодно». Обещаю ему, как домой вернемся, злот ему дать, а он говорит:

«На що мени ваш и злот, як мы оба тут издохнем. А если хотите мне что сделать от доброй души, так дайте мне еще хорошенько потянуть из барила». Я говорю: «Пей сколько хочешь», – он и попил. Попил и пошел вперед, чтобы брать коней за узду, да вместо того сейчас же сразу назад: вернулся и весь трясется.

«Что ты, – говорю, – что с тобою такое?»

А он отвечает:

«Да ишь вы, – говорит, – якая умная: разве я могу против Николы перти?»

«Что ты, глупый человек, говоришь: чего тебе против Николы перти?»

«А кто его знает, – говорит, – чего он там стоит?»

«Где, кто стоит?»

«А вон там, – говорит, – у самого запряга – впереди коней».

«Да цур тебе, дурню, – говорю, – ты пьян!»

«Эге, хорошо, – отвечает, – что пьян, а вот же твой муж был и не пьян, да мару видел, и я вижу».

«Ну вот, – говорю, – ты еще моего мужа вспомнил: что он видел – это я лучше тебя знаю, что он видел, а ты говори: что тебе показывается!»

«А стоит що-сь таке совсим дуже велике в московської золотой шапци, аж с нее искры сыплются».

«Это, – говорю, – у тебя у самого из пьяных глаз сыпется».

«Нет, – спорит, – это Никола в московської шапци. Он нас и не пуска».

Я и вздумала, что это, может быть, неправда, а может, и вправду за то, что мы не хотели хлопца Николою писать, а Савкою, и говорю:

«Нехай же по его буде: не пуска, и не надо – мы ему теперь уступим, а завтра по-своему сделаем. Пусти коней идти, куда хотят, – они нас домой привезут; а ты теперь зато хоть всю барилочку выпей».

Смутила я Агапа.

«Ты, – говорю, – выпей побольше и только знай помалчивай, а я такое брехать стану, что никому в ум не вступит, что мы брешем. Скажем, что детину охрестили и назвали его, как Дукач хотел, добрым казачьим именем – Савкою, – вот и крестик пока ему на шейку наденем; и в недилю (воскресенье) скажем: панотец велел дытину привезти, чтобы его причастить, и как повезем, тогда зараз и окрестим и причастим – и все будет тогда, как следует по-христианскому».

И открыла опять дытиночка, – оно такое живеньке, спит, а само тепленьке, даже снежок у него на лобике тает; я ему этой талой водицей на личике крест обвела и проговорила: во имя отца, сына, и крестик надела, и пу-

стилились на божию волю, куда кони вывезут.

Кони все шли да шли – то идут, то остановятся, то опять пойдут, а погода все хуже да хуже, стыдь все лютее. Агап совсем опьянел, сначала бормотал что-то, а после и голоса не стал подавать – свалился в сани и захрапел. А я все стыла да стыла и так и не пришла в себя, пока меня у Дукача в доме снегом стали оттирать. Тут я очнулась и вспоминала, что хотела сказать, и то самое сказала, что дитя будто охрещено и что будто дано ему имя Савва. Мне и поверили, и я покойна была, потому что думала все это поправить, как сказано, в первое же воскресенье. А того и не знала, что Агап был застреленный и скоро умер, а старого Дукача в острог берут; а когда узнала, я хотела во всем пониниться хоть старой Дукачихе, да никак не решалася, потому что в семье тогда большое горе было. Думала, расскажу это все после, да и после тяжело было это открывать, и так все это день ото дня откладывалось. А время шло да шло, а хлопец все рос; и все его Савкой звали, и в науку его отдали, – я все не собралась открыть тайну, и все мучилась, и все собиралась открыть, что он некре-

ценный, а тут, когда вдруг услышала, что его даже в попы ставят, – побежала было в город сказать, да меня не допустили и его поставили, и говорить стало не к чему. Зато с тех пор я уже и минуты покоя не знаю – мучусь, что через меня все христианство на моем родном месте с некрещеным попом в посмех отдается. Потом, чем старее становилась и видела, что люди его все больше любят, тем хуже мучилась и боялась, что меня земля не примет. И вот только теперь, в мой смертный случай, насилу сказала. Пусть простит мне все христианство, чьи души я некрещеным попом сгубила, а меня хоть живую в землю заройте, и я ту казнь приму с радостью.

Благочинный и перегудинский поп всё это выслушали, все записали и оба к той записи подписались, прочитали отцу Савве, а потом пошли в церковь, положили везде печати и уехали в губернский город к архиерею и самого отца Савву с собой увезли.

А народ тут и зашумел, пошли переговоры: что это такое над нашим паном-отцом, да откуда и с какой стати? И можно ли тому быть, как говорит Керасиха? Статочное ли де-

ло ведьме верить?

И сгромоздили такую комбинацию, что все это от Николы и что теперь надо как можно лучше «подсилить» перед богом святого Савку и идти самим до архиерея. Отбили церковь, зажгли перед святцами все свечи, сколько было в ящике, и послали вслед за благочинным шесть добрых казаков к архиерею просить, чтобы он отца Савву и думать не смел от них трогать, «а то-де мы без сего пана-отца никого слушать не хотим и пойдём до иной веры, хоть если не до катылицкой, то до турецькой, а только без Саввы не останемся».

Вот тут-то архиерею и была загвоздка почище того, что «диакон ударил трепака, а трепак не просит: зачем же благочинный доносит?»

Керасивна умерла, подтвердив в своем порыве покаяния всем то, что мы знаем, и выборные казаки пошли к архиерею и всю ночь всё думали о том, что они сделают, если архиерей их не послушает и возьмет у них попа Савву?

И еще тверже решили, что вернутся они

тогда на село – сразу выпьют во всех шинках всю горелку, чтобы она никому не досталась, а потом возьмет из них каждый по три бабы, а кто богаче, тот четыре, и будут настоящими турками, но только другого попа не хотят, пока жив их добрый Савва. И как это можно допустить, что он не крещен, когда им крещено, исповедано, венчано и схоронено так много людей по всему христианству? Неужели теперь должны все эти люди быть в «поганьском положении»? Одно, что казаки соглашались еще уступить архиерею, – это то, что если нельзя отцу Савве попом оставаться, то пусть архиерей его у себя, где знает, тихонько окрестит, а только чтобы все-таки он его оставил... или иначе они... «удадутся до турецькой веры».

Это опять было зимою и опять было под вечер и как раз около того же Николина или Саввина дня, когда Керасивна тридцать пять лет тому назад ездила из Парипсов в Перегуды крестить маленького Дукачева сына.

От Парипс до губернского города, где жил архиерей, было верст сорок. Отправившаяся на выручку отца Саввы громада считала, что она пройдет верст пятнадцать до большой корчмы жида Иоселя, – там подкрепится, погрееется и к утру как раз явится к архиерею.

Вышло немножко не так. Обстоятельства, имеющие прихоть повторяться, сыграли с казаками ту самую историю, какая тридцать пять лет тому назад была разыграна с Агапом и Керасивной: поднялась страшная метель, и казаки всею громадою начали плутать по степи, потеряли след и, сбившись с дороги, не знали, где они находятся, как вдруг, может быть всего за час перед рассветом, видят, стоит человек, и не на простом месте, а на льду над прорубью, и говорит весело:

– Здорово, хлопцы!

Те поздоровались.

– Чего, – говорит, – это вас в такую пору носит: видите, вы мало в воду не попали.

– Так, – говорят, – горе у нас большое, мы до архиерея спешим: хотим прежде своих врагов его видеть, щобы он на нашу руку сделал.

– А что вам надо сделать?

– А щобы он нам нехрещеного попа оставил, а то мы такие несчастливые, що в турки пидемо.

– Как в турки пидете! Туркам нельзя горелки пить.

– А мы ее всю вперед сразу выпьем.

– Ишь вы, какие лукавые.

– Да що же маем робить при такой обиде – як доброго попа берут.

Незнакомый говорит:

– Ну так расскажите-ка мне всё толком.

Те и рассказали. И так ни с того ни с сего, стоя у проруби, умно все по порядку сказали и опять дополнили, что если архиерей им не оставит того Савву, то они «всей веры решатся».

Тут им этот незнакомый и говорит:

– Ну, не бойтесь, хлопцы, я надеюсь, что архиерей хорошо рассудит.

– Да воно б так и нам, – говорят, – сдается, что такой великий чин маючи, надо добре рассудить, а бог его церьковный знае...

– Рассудит; рассудит, а не рассудит, так я помогу.

– Ты?.. а ты кто такой?

– Скажи: як тебя звать?

– Меня, – говорит, – звать Саввою.

Казаки друг друга и толкнули в бок.

– Чуєте, се сам Савва.

А тот Савва им потом: «Вот, – говорит, – вы пришли куда вам следует – вон на горке монастырь, там и архиерей живет».

Смотрят, и точно: виднеть стало, и перед ними за рекою на горке монастырь.

Очень казаки удивились, что под такую суровую непою без отдыха прошли сорок верст, и, взобравшись на горку сели они у монастыря, достали из сумочек у кого что было съедобного и стали подкрепляться, а сами ждут, когда к утрене ударят и отопрут ворота.

Дождались, вошли, утрению отстояли и потом явились на архиерейское крыльцо про-

сить аудиенции.

Хотя наши архипастыри и не очень охочи до бесед с простецами, но этих казаков сразу пустили в покои и поставили в приемную, где они долго, долго ждали, пока явились сюда и перегудинский поп, и благочинный, и поп Савва, и много других людей.

Вышел архиерей и со всеми людьми переговорил, а с благочинными и с казаками ни слова, пока всех других из залы не выпустил а потом прямо говорит казакам:

– Ну что, хлопцы, обидно вам? Некрещеного попа себе очень желаете?

А те отвечают:

– Милуйте – жалуйте, ваше высокопреосвященство: як же не обида... такой був пип, такой пип, що другого такого во всем хрыстианстве нема...

Архиерей улыбнулся.

– Именно, – говорит, – такого другого нема, – да с этим оборачивается до благочинного и говорит:

– Поди-ка в ризницу: возьми, там тебе Савва книгу приготовил, принеси и читай, где раскрыта.

А сам сел.

Благочинный принес книгу и начал читать: «Не хочу же вас не вести, братие, яко отцы наши *вси под облаком быша*, и вси сквозь море проидоша, и вси в Моисея *крестишася во облаце и в мори*. И вси тожде брашно духовное ядоша и вси тожде пиво духовное пяху, бо от духовнаго последующаго камене: камень же бе Христос».

На этом месте архиерей и перебил, говорит:

– Разумеешь ли, яже чтеши?

Благочинный отвечает:

– Разумею.

– И сейчас ли только ты это уразумел!

А благочинный и не знает, что отвечать, и так наоболмаш сказал:

– Слова сии я и прежде чел.

– А если чел, так зачем же ты такую тревогу допустил и этих добрых людей смутил, которым он добрым пастырем был?

Благочинный отвечал:

– По правилам святых отец...

А архиерей перебил:

– Стой, – говорит, – стой: иди опять к Савве,

он тебе даст правило.

Тот пошел и пришел с новой книгою.

– Читай, – говорит архиерей.

– Читаем, – начал благочинный, – у святого Григория Богослова писано про Василия Великого, что он «был для христиан иереем до священства».

– Сие к чему? – говорит архиерей.

А благочинный отвечает:

– Я только по долгу службы моей, как оказался он некрещеный в таком сани...

Но тут архиерей как топнет:

– Еще, – говорит, – и теперь все свое повторяешь! Стало быть, по-твоему, сквозь облако пройдя, в Моисея можно окреститься, а во Христа нельзя? Ведь тебе же сказано, что они, добиваясь крещения, и влажное облако со страхом смертным проникали и на челе расталою водою того облака крест младенцу на лице написали во имя святой троицы. Чего же тебе еще надо? Вздорный ты человек и не годишься к делу: я ставлю на твое место попа Савву; а вы, хлопцы, будьте без сомнения: поп ваш Саква, который вам хорош, и мне хорош и богу приятен, и идите домой без сомнения.

Те ему в ноги.

– Довольны вы?

– Дуже довольны, – отвечают хлопцы.

– Не пойдете теперь в турки?

– Тпфу! не пидемо, батьку, не пидемо.

– И всю горелку сразу не выпьете?

– Не выпьем от разу, не выпьем, цур їй, пек!

– Идите же с богом и живите по-христиански. И те уже готовы были уходить, но один из них для большего успокоения кивнул архиерею пальцем и говорит:

– А будьте, ваша милость, ласковы отойти со мною до куточка.

Архиерей улыбнулся и говорит:

– Ну хорошо, пойдём до куточка.

Тут казак его и спрашивает:

– А звольте, ваша милость: звиткиля вы все се узнали, допреже як мы вам сказали?

– А тебе, – говорит, – что за дело?

– Да нам таке дило, чи се не Савва ли вас всим надоумив?

Архиерей, которому все рассказал его келейник Савва, посмотрел на хохла и говорит:

– Ты отгадал, – мне Савва все сказал.

А сам с этим и ушел из залы.

Ну, тут хлопцы и поняли все, как хотели. И с той поры живет рассказ, как маломочный Савва тихенько да гарненько оборудовал дело так, что московський Никола со всей своей силою ни при чем остался.

– Такий-то, – говорят, – наш Савко штуковатый, як подсилился, то таке повыдумывал, что всех с толку сбил: то от Писания покажет, то от святых отец в нос сунет, так что аж ни чого понять не можно. Бог его святой знае: чи он взаправду попа Савву у Керасивны за пазухою перекрестил, чи только так ловко все закарголыв, що и архиерею не раскрутить. А вышло все на добре. На том ему и спасыби.

О. Савва, говорят, и нынче жив, и вокруг его села кругом штунда, а в его малой церковке все еще полно народу... И хоть неизвестно, «подсиливают» ли там нынче св. Савкб по-прежнему, но утверждают, что там по-прежнему во всем приходе никакие Михалки и Потапки «голые пузенья» не показывают.

*Впервые опубликовано – журнал
«Гражданин», 1877.*